
Ведьма из Сызрани
Перепелка

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Перепелка

«Автор»
2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Перепелка / М. Панова — «Автор», 2026

Святки 2036 года. В Рождественскую ночь под печкой старого дома на Верхне-Кирпичной вылупляется перепёлка. Кот Модест, проспавший всё на свете, приносит её в зубах домой и не съедает. Хотя повод был: в перепёлке спрятана игла, смерть Кощея.Где-то на Терском берегу у Казимира Карловича Кащеева впервые за тысячу лет начинает биться сердце. Он седеет, пускается в путь и приезжает в Сызрань не один, а с поморской вдовой Таисьей Ивановной. Подойти к собственной смерти он не может: с каждым шагом стареет на двадцать лет. Вороны, тысячу лет стерёгшие его дуб, хотят вернуть иглу на место.Двенадцать святочных дней, и рассказывают о них двенадцать голосов, среди них кот, домовой, кикимора, сфинкс, снежная девочка, участковый, ведьма и сам Кощей. Им предстоит придумать, как сделать так, чтобы бессмертному никогда больше не пришлось быть одному.Тёплая зимняя сказка о любви после шестидесяти, вязаных носках и о том, что из корзинок не едят. Книгу можно читать отдельно от серии.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Кто есть кто 6
Глава 1. Модест. Сочельник 7
Глава 2. Казимир Карлович. Рождество 15
Глава 3. Гаша. Рождество 21
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Милана Панова
Ведьма из Сызрани. Перепелка

Ведьма из Сызрани. Перепёлка

Серия «Ведьма из Сызрани». Книга двадцать первая

Кто есть кто

Книгу можно читать отдельно от серии. Если вы впервые в Сызрани, вот с кем вам предстоит познакомиться.

Дом на Верхне-Кирпичной, 13

Василиса Андреевна Шмелёва — ведьма. Десять лет назад приехала из Москвы, где писала рекламу для банков, и унаследовала от бабушки Агафьи дом, кота, домового и клиентов. Видит нитки, которые связывают людей и вещи.

Егор Шмелёв — её муж, участковый. Нечисти не видит, но всегда находит, что сделать по-человечески. С печатью.

Гаша (Агафья) и Алёша — их близнецы, им почти восемь. Гаша видит нитки с рождения и хмурится, чтобы видеть их поменьше. Алёша тихий и слышит, что помнит дом.

Модест — чёрный кот-фамильяр, больше двухсот лет. Говорит, ест сметану, произносит «тьфу» и держит слово.

Фрол Евсеич — домовой, около трёхсот лет. Ворчит, печёт блины, пьёт чай из синего блюдечка.

Устя — кикимора ростом с кошку. Живёт за печкой и прядёт из Модестовой шерсти. Говорит мало.

Луи — кот-сфинкс из Москвы, в рыжем свитере. Живёт в бане и парит в ней всех, кого сможет. Говорит «мон ами».

Никита Тарасов — ученик Василисы, студент. Его девушка — Соня.

Соседи

Зинаида Павловна — бывшая завуч, сорок лет в школе. Её муж Геннадий Петрович — отставной вертолётчик.

Михеич (Владимир Михеевич) — старик с Нижне-Кирпичной, мастер на все руки.

Варя — девочка из снега, дочь Мороза. Её слепил Михеич, и она ожила. Ростом с метр, любит мороз.

Евсей — отец Фрола, старший над домовыми всей Волги. Живёт у Михеича, держит уголь с пожара 1774 года.

Гости

Казимир Карлович Кащеев — Кощей Бессмертный. Три года назад держал в Сызрани ломбард, где принимал в залог умения и голоса, потом уехал на Белое море. Его смерть — игла в яйце — осталась в доме Василисы, в левом валенке Модеста.

Таисья Ивановна Лукина — вдова из поморского села Нижняя Губа, 67 лет. Двадцать лет ходит на пустую могилу мужа. Колет с Кощеем дрова.

Рыжая — кошка Таисьи.

Римма Гареевна — московская ведьма. Вместе с Василисой держит «вожжи» — наследство Верховной ведьмы Евдокии Марковны.

Вороны — тридцать старых птиц, тысячу лет стерёгших дуб, на котором была спрятана смерть Кощея.

Глава 1. Модест. Сочельник

Я никогда не сплю на посту.

Это первое, что вы должны обо мне знать, если вы вообще собираетесь что-то обо мне знать, — а вы собираетесь, раз уж открыли эту книгу, а не другую, про какую-нибудь глупую лису или про собаку, которая нашла дорогу домой. Собаки всегда находят дорогу домой. Это не подвиг. Это — нос.

Я — кот. Меня зовут Модест. Мне двести с лишним лет, и точную цифру я вам не скажу, потому что в разных источниках она разная, а я не люблю, когда меня ловят на противоречиях. Я служил восьми ведьмам. Я пережил холеру в Самаре, пожар в Сызрани, две войны, перестройку, дефолт, коронавирус и одного Кощея. Я знаю наизусть рецепт сметаны по-губернски, сорок семь способов не ответить на вопрос и все серии «Санта-Барбары», потому что их смотрел Фрол, а я лежал рядом.

И я никогда не сплю на посту.

Пост у меня — валенок.

Левый. Серый. Двадцать девятого года. Подшитый по пятке кожей, которую отдала Евдокия Марковна — да будет ей тепло там, где она сейчас, — и с дыркой на носке, которую зашила Устя — наша кикимора, она живёт за печкой и прядёт из моей шерсти. Внутри, в самом носке, обмотанное пушицей в три слоя, — перепелиное яйцо. Маленькое. Пёстрое. Размером с крупную виноградину.

В яйце — игла.

Чья игла — вы, наверное, знаете. А если не знаете — я объясню коротко, потому что долго про это говорить неприятно. Тысячу лет назад один человек — тогда ещё человек — спрятал свою смерть. Как прячут все такие люди: на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове. Классика. Скука. Потом за тысячу лет кое-что поменялось: дуб срубили, остров затопило водохранилищем, заяц сдох, утку съели, — и смерть его оказалась у одной старухи на Кривоарбатском, а от старухи — в перепелиной скорлупе — в этом валенке.

Валенок стоит на печи. На лежанке. У трубы. В самом дальнем углу.

Я сплю рядом. Обняв его хвостом.

Сплю — это я неточно сказал. Я лежу. С закрытыми глазами. С ушами, повёрнутыми к валенку. Я слышу, как в яйце ничего не происходит. Это очень особенный звук. Его надо уметь слышать. Я умею. Два года и девять месяцев я слушаю, как в перепелином яйце ничего не происходит.

А в ночь на седьмое января две тысячи тридцать шестого года — я уснул.

По-настоящему.

Я не знаю почему. Я потом думал. Долго. Неделю. Может, потому что Фрол накануне топил печь до полуночи — он к Рождеству пёк, у него пироги с вязигой, их надо в остывающей печи доводить, — и лежанка была тёплая, как бок у кормилицы. Может, потому что вечером Гаша читала вслух Алёше «Ночь перед Рождеством», а Гаша читает так, что засыпают все, кроме Алёши: у неё голос, как у дьячка на вечерне, ровный, без пауз, без выражения, и все сто семьдесят слов в минуту — одинаково. Может, потому что мне — двести с лишним, и прошлым летом была жара сорок один градус, и я полтора месяца пролежал на холодном линолеуме у раковины, и с тех пор у меня ноют лапы на погоду, и я стал спать днём, чего никогда раньше не делал.

Может — потому что я старею.

Неважно.

Я уснул.

И мне снилось — это я тоже запомнил, — что я котёнок. В корзине. На Троицком рынке в Самаре. В восемьсот двадцать седьмом. Полудохлый, с гноящимися глазами. Корзина выстлана соломой. Ржаной. Колючей. И кто-то большой и тёплый наклоняется надо мной и говорит: «Ой, батюшки. Ну иди сюда. Иди». И берёт меня на руки. И я — первый раз в жизни — мурлычу.

Этот сон мне не снился лет сто. Я думал — я его забыл.

А потом в этом сне — в корзине, рядом со мной, в соломе — кто-то пискнул.

Тоненько. Как скрипнула бы мышиная дверь, если бы у мышей были двери.

И я проснулся.

Валенок был тёплый.

Не от печи — изнутри. Я лежал, обняв его хвостом, и чувствовал хвостом, что внутри — тепло. Живое. Как если бы в валенке сидел мышонок. Или птенец.

Я понял не сразу. Минуту, может, лежал. Я был ещё в корзине на Троицком рынке, я ещё мурлыкал.

Потом понял.

Я сунул нос в голенище.

Пахло. Не войлоком. Не нафталином. Не Устиной куделью, которой она обмотала яйцо. Пахло — тёплым пухом. Скорлупой. И ещё — немножко — железом. Холодным. Острым. Как пахнет новая иголка, если её лизнуть. Я однажды лизнул. В восемьсот сорок девятом. Евпраксия шила, я полез, она ахнула. Больше не лизал.

Я засунул лапу в валенок. Глубоко. В самый носок. Туда, где пушица.

Пушица была разворочена.

Скорлупа — три куска. Пёстрые, тонкие, острые по краям. Я их выгреб лапой. По одному. Положил на лежанку. Рядом с валенком.

Яйца не было.

То есть было — скорлупа. Целая. Изнутри.

А то, что было в яйце, — нет.

Я сидел на лежанке. Над тремя кусками перепелиной скорлупы.

Мне двести с лишним лет. Я пережил холеру, пожар, две войны и одного Кощея.

Я никогда не сплю на посту.

Я сидел и смотрел на скорлупу. И у меня в голове не было ни одной мысли. Ни одной. Это со мной случилось первый раз в жизни. Обычно у меня в голове — не меньше трёх мыслей одновременно, и две из них — презрительные.

Ноль.

Потом пришла одна.

«Где?»

Я спрыгнул с печи.

На кухне было темно. Ходики показывали без двадцати четыре. Фрол спал за печкой — я слышал, как он сопит, тоненько, с присвистом, как самовар, когда закипает. Устя — тоже. Веретено молчало.

На полу, на половицах, у ножки печи — я увидел.

Следы.

Не следы даже. Точки. Маленькие. Как будто кто-то ткнул в пол спичкой. Три точки — потом пропуск — три точки — пропуск. Цепочкой. От печи — к двери в сени.

Я пошёл по ним.

В сени. По холодному полу. Мимо Егоровых ботинок — он их чистит теперь сам, по-человечески, с задником, Фрол его год назад научил. Мимо Гашиных валенок — розовых, новых, на Рождество подарили, и она в них уже второй день спит. Мимо Алёшиных — серых, старых, перешитых из Агафьиных, он новые не захотел.

К двери.

Дверь была закрыта.

А в двери — внизу — была дырка. Небольшая. Квадратная. С кожаной занавеской. Это моя дырка. Её Егор сделал. В позапрошлом году, после того как я в девятый раз за зиму сидел под дверью и орал, чтобы меня выпустили. Он сказал: «Модест, ты меня достал. Вот тебе дверь. Ходи». И выпилил. Я им восхищался молча. Вслух сказал: «Кривая». Она и правда кривая.

Точки вели — к дырке.

Под кожаной занавеской.

Наружу.

На крыльце был снег.

Свежий. Выпал вечером, к Рождеству, как положено. Чистый, ровный, голубой в свете уличного фонаря, — фонарь у колонки починили наконец, Егор три года писал заявки. Минус девятнадцать. Тихо. Ни ветра. Ни звука. Небо — чёрное, со звёздами. Рождественская ночь. Полагается — ясная. Ясная.

На снегу — точки.

Три — пропуск — три. По ступенькам крыльца. Вниз. Через двор. Мимо яблони. Мимо бани — в бане горел свет, Луи не спал. Луи — сфинкс, лысый московский кот в рыжем свитере, он живёт в Агафьиной бане и топит её лучше всякого банника. Он теперь вообще почти не спит, говорит, у сфинксов зимой бессонница от нехватки шерсти.

К калитке.

Под калиткой.

На улицу.

Я стоял на крыльце.

Минус девятнадцать. Я — на крыльце. Я. В четыре утра. В Рождество. В минус девятнадцать. Я не выхожу на крыльцо при минус десяти. Это — принцип.

Я смотрел на точки.

Три — пропуск — три. По голубому снегу. Под калитку. На Верхне-Кирпичную.

Ровные. Маленькие. Торопливые.

Я знал, кто их оставил.

Не мышь. Мышь бегает не так — мышь бегает змейкой, с хвостом, и хвост чертит по снегу линию. Тут линии не было. И не воробей — воробей скачет двумя лапами сразу, у него точки — парные. А тут — три. Три пальца. Птичьи. Вперёд.

Птенец.

Перепелиный.

Сутки, может быть, от роду. Может — часы. Голый ещё почти, в пуху, мокрый, наверное, ещё от яйца. Слепой? Нет. Перепелята — не слепые. Перепелята вылупляются и сразу бегут. Я знаю. В Самаре у Евпраксии на заднем дворе держали перепёлок, я их видел. Вылупится — и через час уже бегает по двору, клюёт, пищит. Выводковая птица.

Выводковая.

Бегает сразу.

В минус девятнадцать.

По снегу.

С иглой внутри.

Я вам сейчас скажу одну вещь, которую никогда никому не говорил. Ни Евпраксии. Ни Агафье. Ни Василисе. Вообще никому.

Я испугался.

Не так, как пугаются коты — когда пылесос, или собака, или Гаша с ножницами, потому что она в прошлом году решила, что у меня чёлка слишком длинная. Не так. По-другому. Как пугаются, когда понимают, что сделали то, чего уже не исправишь.

Двести с лишним лет я держал слово. Однажды нарушил — в позапрошлом мае, из-за Фрола, — и до сих пор, когда вспоминаю, у меня в горле что-то такое, как будто сметана не туда пошла.

А тут — слово ни при чём. Тут — пост. Валенок. Яйцо. Игла.

Кощеева смерть.

Которую мне доверили.

Которая — в эту ночь, в рождественскую, пока я спал и видел себя котёнком в соломе, — родилась. И убежала. В дырку. Которую мне выпилил Егор, потому что я его достал.

Под калитку. На улицу. В минус девятнадцать.

И если она замёрзнет — если этот голый, мокрый, только что вылупившийся перепелёнок, у которого внутри игла, замёрзнет до утра где-нибудь в сугробе на Верхне-Кирпичной, — то где-то там, на Белом море, в деревянном доме с одним освещённым окном, высокий чёрный человек в пенсне, который тысячу лет жил чужими голосами, а потом завёл кошку — рыжую, одну, пока живую, — упадёт.

И не встанет.

И это буду — я.

Не мороз. Не перепёлка. Не судьба. Я.

Потому что уснул.

Я спрыгнул с крыльца.

Снег был холодный. Холоднее, чем я помнил. Он обжёг лапы — сразу, все четыре, до самых подушечек, — как будто я наступил на сковородку, только наоборот. Я зашипел. Сам на себя. И пошёл. По точкам. Через двор.

Мимо бани.

Дверь бани приоткрылась. Из щели — пар. И голова. Розовая. Лысая. Морщинистая. С огромными ушами. С голубыми глазами.

— Мон ами? — сказал Луи. Изумлённо. — Ты — на улице? Ты? В Рождество? В такой мороз?

— Иди в баню, Бирюлёво, — сказал я.

— Что случилось?

— Ничего.

— Модест. — Луи вылез на порог. Голый. Розовый. Пар валил от него, как от самовара. — Ты никогда не выходишь при минус десяти. Это — принцип. Ты сам говорил. Двадцать раз.

— Я в курсе, что я говорил.

— Значит, случилось.

Я остановился. Посмотрел на него.

Двести с лишним лет я не просил помощи у кошек. Ни у одной. Даже у Агафьиной Мурки, которая была умнее меня, — а это я признаю только сейчас и только потому, что она давно умерла и не узнает.

— Луи, — сказал я. — Иди в дом. Разбуди Фрола. Скажи — валенок. Он поймёт.

Луи смотрел на меня.

Голубыми глазами. Слезящимися — у него от мороза всегда слезятся.

— Валенок, — повторил он.

— Валенок. И скорлупа. Три куска. На лежанке.

Луи открыл рот.

Закрыл.

И — я этого никогда не забуду — не стал ничего спрашивать. Ни «какой валенок», ни «зачем», ни «мон ами, ты в своём уме». Повернулся. И побежал. Голый, розовый, без свитера — по снегу, в минус девятнадцать, — к дому. К дырке в двери. Нырнул под кожаную занавеску.

Я посмотрел ему вслед.

Тьфу, подумал я. Сентиментальность.

И пошёл к калитке.

Точки шли под калитку.

Калитка — зелёная. Старая. Поющая. Ночью она обычно молчит — даже ей надо спать. Но когда я подошёл, она — я почувствовал — проснулась. И набрала воздуха. Чтобы запеть.

— Не надо, — сказал я калитке. — Не ори. Дети спят.

Калитка помедлила.

Потом — беззвучно — приоткрылась. На ширину кота.

Я вышел.

На Верхне-Кирпичную.

Улица была пустая. Белая. Голубая под фонарём. Сугробы — по обочинам, высокие, Егор вчера чистил, и Кузьмичёв со своей Ульяновской приходил помогать, с гармошкой на плече, пел «Ой, мороз, мороз», пока махал лопатой. Окна — тёмные. Только у Зинаиды Павловны — ночник, синий. Геннадий Петрович после той истории с «Волгой» плохо спит, сидит ночами в гараже. С Агриппиной, хотя её не видит. Ну, это их дело.

Точки шли — по середине улицы. По накатанному снегу. Вниз. К Нижне-Кирпичной.

Три — пропуск — три. Мелкие. Торопливые.

И — я присмотрелся — неровные. Чем дальше, тем неровнее. Пропуски — длиннее. Точки — глубже. Как будто тот, кто их оставлял, — уставал. Спотыкался. Останавливался. Шёл дальше.

Я пошёл.

Лапы горели. Потом — перестали гореть. Потом — перестали чувствоваться. Это плохо, я знаю. Я двести лет на свете, я знаю, что бывает, когда лапы перестают чувствоваться. Но я шёл.

Угол Верхне-Кирпичной и переулка.

Точки — свернули. В переулок. Направо.

Я свернул.

Переулок был узкий. Без фонаря. Тёмный. Между двумя заборами — деревянным Синицыных и бетонным коттеджа, где живёт новый русский с собакой.

Собака.

Я остановился.

Собака у нового русского — большая. Глупая. Кавказская овчарка. Зовут Барон. Я его ненавижу сорок семь способами. Он меня — одним, но зато громко. Он сидит в вольере за бетонным забором, и когда я прохожу мимо — орёт так, что у Зинаиды Павловны дребезжат стёкла.

Сейчас он не орал.

Сейчас он — я слышал — сопел. За забором. Тихо. Жадно. Носом в щель под воротами. Нюхал.

Точки вели — к воротам.

Под ворота.

В щель. Ту самую, в которую Барон сейчас сопел.

У меня шерсть встала дыбом. Вся. От ушей до хвоста. Я почувствовал, как она встаёт — волной, от затылка вниз, — как не вставала с тех пор, как Фрол ушёл в мае.

Барон за воротами — сопел. И скулил. Тихонько. Нетерпеливо. Как скулят собаки, когда видят что-то маленькое, тёплое и живое, и очень хочется, но достать — не могут. Пока.

Я подошёл к воротам.

Вплотную. К щели.

Наклонился. Посмотрел.

Под воротами — снаружи, с моей стороны, в узкой щели между железным краем ворот и обледенелым асфальтом, — сидел комок.

Маленький. Размером с грецкий орех. Серо-коричневый. Пуховый. Мокрый — местами пух слипся сосульками. Дрожал. Весь. Мелко-мелко. Как дрожит чайная ложка в стакане, когда мимо идёт поезд.

Две ножки — тонкие, розовые, как спички.

Клювик — крошечный, жёлтый на кончике.

Два глаза. Чёрные. Как бусины. Открытые.

Смотрели на меня.

С той стороны ворот, в двадцати сантиметрах, — сопел Барон. Его нос, огромный, чёрный, мокрый, тыкался в щель. Не доставал. Пока. Щель была слишком узкая для его носа. Но он рыл. Я слышал — когтями. По бетону. По льду.

Перепелёнок сидел между нами.

Между мной и Бароном.

И смотрел на меня.

Я — кот.

Вы понимаете? Я — кот. Двести с лишним лет. У меня — когти. У меня — зубы. У меня — инстинкт. Двести лет инстинкта. Маленькое, тёплое, пушистое, пищащее — это не друг. Это — еда. Так устроено. Это не я придумал. Я просто так сделан.

Я смотрел на перепелёнка.

Перепелёнок смотрел на меня.

И внутри него — я почуял, я не знаю как, носом, шерстью, усами, всем, — внутри него, где-то в самой серединке, в крошечной груди под мокрым пухом, — было холодное. Острое. Железное. Как новая иголка, если её лизнуть.

Тысячу лет.

У меня во рту стало сухо.

Барон за воротами рыл.

Перепелёнок пискнул. Тихо. Один раз.

Не мне. Не Барону. Просто — пискнул. Как пищат, когда холодно. Когда страшно. Когда ты — сутки от роду, и вокруг — снег, и темнота, и огромные звери с двух сторон, и ты не знаешь, кто ты, и зачем ты, и почему у тебя внутри — холодное и острое.

Я наклонился.

Медленно. Очень медленно. Так, как наклоняются к мышиной норе. Двести лет я так наклоняюсь — и всегда знаю, что будет дальше.

Я открыл рот.

Перепелёнок смотрел на меня.

Я взял его.

Зубами. За загривок. Как кошка берёт котёнка. Как меня — в корзине на Троицком рынке — никто не брал, потому что матери у меня не было, а была только Евпраксия, и она брала руками.

Осторожно. Еле-еле. Чтобы не прокусить. Чтобы не сжать. Так осторожно, как я в жизни ничего не делал. Даже когда Гаша была новорождённая и я лежал у неё в кроватке и боялся пошевелиться, чтобы не раздавить.

Пух был мокрый. Холодный. Солёный — от скорлупы.

Перепелёнок не трепыхался. Повис. Обмяк. Как обмякают котята, когда их берут за загривок. Это у них — у всех малышей — так устроено. Чтобы мать могла донести.

Барон за воротами — завыл. Обиженно. На весь переулок.

Я развернулся.

И пошёл домой.

Не помню, как дошёл. Лап я не чувствовал. Совсем. Шёл — как на ходулях. Перепелёнок висел у меня в зубах. Лёгкий. Как пёрышко. Тёплый — немножко, совсем чуть-чуть — у загривка. Я чувствовал его сердце. Через зубы. Мелкое. Частое. Как у меня, когда я был котёнком.

И глубже, под сердцем, — холодное. Железное.

Калитка открылась сама. Беззвучно.

На крыльце стоял Фрол.

В рубахе. С медной пуговицей на вороте. Босой. На снегу. Седая борода — растрёпанная, со сна. В руках — шерстяной носок. Гашин. Розовый. Свёрнутый, как гнездо.

Рядом с ним — Луи. Голый. Розовый. Дрожащий.

Рядом с Луи — Устя. Маленькая, с кошку. В сером платке. Первый раз на моей памяти — на крыльце. Не за печкой.

Все трое смотрели на меня.

Я поднялся по ступенькам. Медленно. Как на ходулях.

Остановился перед Фролом.

Наклонился. Разжал зубы.

Перепелёнок упал — в Гашин носок. В розовую шерсть. Свернулся там. Маленький, мокрый, дрожащий.

Пискнул.

Фрол смотрел на него. Потом — на меня.

— Поймал, — сказал он. Не спрашивая.

— Не поймал, — сказал я. — Нашёл.

— Живой?

— Живой.

Фрол смотрел на меня.

— Ты ж его — зубами нёс, — сказал он.

— Нёс.

— И не… — Он не договорил.

Я посмотрел на него.

— Фрол, — сказал я. — Я двести с лишним лет — кот. И всё равно — не я один в этом доме что-то держу. — Я помолчал. — Неси в тепло. Он замерзает. У меня лапы — тоже.

Фрол прижал носок к груди. К медной пуговице. Повернулся. И понёс. В дом.

Устя — за ним.

Луи остался. Посмотрел на мои лапы. Белые. Обледенелые.

— Мон ами, — сказал он. Тихо. — Пойдём ко мне. В баню. Я тебя отпарю.

— Не надо.

— Надо, — сказал Луи. — Ты — мне друг. А друзей с отмороженными лапами — не бросают. — Это — тоже принцип.

Я посмотрел на него. На розового, голого, дрожащего, лопоухого сфинкса из Бирюлёва.

Тьфу, подумал я.

И пошёл за ним в баню.

Утром — к шести — я отогрелся. Луи парил меня берёзовым веником. Аккуратно. По лапам. И говорил по-французски — то есть то, что он считал французским, — тихо, нараспев. «Мон пти. Мон шер. Са ва, са ва». Я делал вид, что сплю.

А в шесть утра — когда в окне бани посерело, и на кухне у Фрола загремел самовар, — перепелёнок сбежал опять.

Из носка.

Из-за печки.

Из закрытой кухни.

Фрол потом божился, что не спал. Устя — что сидела рядом и смотрела. Обе клялись. Я им верю.

Он просто — исчез.

Носок — пустой. Тёплый ещё. Пух — розовый, Гашин, — и на нём три пёстрых пёрышка. И точки на шестке. Три — пропуск — три. К печной трубе.

В трубу.

Наверх.

В рождественское утро.

Я вам говорил — я никогда не сплю на посту.

С этого дня — я больше вообще не сплю.

Глава 2. Казимир Карлович. Рождество

Сердце у меня забилось в шесть часов сорок минут утра седьмого января, когда я колол дрова.

Я записываю это точно, потому что точность — единственная добродетель, которую я сохранил за тысячу лет. Всё остальное я раздал. Или продал. Или — что чаще — взял в залог и не вернул. Но точность — моя. Шесть сорок. Седьмое января. Деревня Нижняя Губа, Терский берег Белого моря, сорок два двора, из них жилых — девять. Минус двадцать шесть. Ветер с моря, северо-восточный, умеренный. Рассвет — в одиннадцать двадцать. До рассвета — почти пять часов. Темно.

Я колол дрова при фонаре.

Это — моя новая добродетель. Вторая. Я приобрёл её в марте тридцать третьего года, когда приехал сюда, купил за бесценок пустой дом на берегу — серый, двухэтажный, с одним окном, глядящим на море, — и обнаружил, что дом без дров зимой — это не дом, а склеп. Я тысячу лет жил в склепах. Иногда — буквально. Мне не понравилось.

Дрова мне привезла Таисья Ивановна.

Она живёт через три дома. Вдова. Муж — Степан, рыбак, утонул в шестнадцатом году на тоне, когда шли за сёмгой, — лодку перевернуло на пороге в устье Варзуги. Шестьдесят семь лет. Высокая. Сухая. Седая, коротко стриженная — сама стрижёт, перед зеркалом, кухонными ножницами. Руки — красные, обветренные, с распухшими суставами. Голос — низкий, с поморским «о», с привычкой заканчивать фразы вопросом, даже когда она ничего не спрашивает. «Дров-то нет у тебя, что ли?» «Замёрзнешь ведь, городской?»

Она привезла дрова на санях. Сама. В марте. Сгрузила у крыльца. Посмотрела на меня — я стоял в дверях в чёрном пальто, в пенсне, с тростью, — и сказала:

— Колоть-то умеешь, барин?

Я сказал, что нет.

Она дала мне топор.

Я учился три недели. Сначала — промахивался. Потом — попадал, но не раскалывал. Потом — раскалывал, но топор застревал. Таисья Ивановна приходила каждый день, садилась на крыльцо, курила «Беломор» и смотрела. Не помогала. Говорила: «Не так, барин. Ногами стой. Не рукой — спиной бей. Ну, вот. Ну, видишь?» Потом уходила.

Через три недели я расколол первое полено с одного удара.

Таисья Ивановна посмотрела на две половинки, лежащие на снегу. Потом на меня. Потом сказала:

— Ну вот. Человек.

И ушла.

Я стоял у колоды с топором. Смотрел на две половинки берёзового полена. И думал, что за тысячу лет меня называли по-разному. Бессмертным. Царём. Чародеем. Нечистью. Кощеем. Казимиром Карловичем. Голубчиком — в ломбарде, клиенты. Чудовищем — один раз, в девятьсот девятнадцатом, женщина, у которой я взял в залог сына.

Человеком меня не называл никто.

С тех пор я колю дрова каждое утро. При фонаре. До рассвета.

В шесть сорок седьмого января я поднял топор над берёзовым чурбаком — и почувствовал удар.

Не топора. Внутри.

Слева. Под рёбрами. Глухой. Тупой. Как будто кто-то постучал кулаком в дверь, за которой тысячу лет никто не жил.

Я опустил топор.

Постоял.

Удар повторился. Сильнее. Отчётливее.

Потом ещё.

Потом — ещё. И ещё. И ещё.

Ровно. Ритмично. Тук. Тук. Тук.

Я стоял у колоды. В чёрном пальто, в шапке-ушанке — я ношу ушанку, Таисья Ивановна подарила, сказала, что в шляпе тут только покойники ходят, — с топором в руке. И слушал, как у меня в груди бьётся сердце.

Вы должны понять.

Тысячу лет — оно не билось. Оно было. Оно лежало там, где ему положено, — орган, мышца, всё как у людей. Но не билось. Потому что смерть моя была не во мне. Она была на кончике иглы. В яйце. В утке, в зайце, в сундуке, на дубе — а потом в перепелиной скорлупе, в валенке, на печи, в Сызрани. А сердцу без смерти — незачем биться. Сердце бьётся, потому что считает. Сколько осталось. А мне считать было нечего.

Тысячу лет я жил в тишине. Внутри.

Я привык. Я не замечал. Как не замечают отсутствие звука, пока он не появится.

Тук. Тук. Тук.

Я снял рукавицу. Прижал ладонь к груди. Через пальто, через свитер — Таисья Ивановна вязала, — через рубашку.

Билось.

Под ладонью. Живое. Тёплое. Частое. Испуганное, мне показалось. Как бьётся у птицы, если взять её в руки.

Я стоял и слушал. Минуту. Две. Пять.

Потом пошёл в дом.

В доме у меня одно зеркало. В прихожей. Старое, в деревянной раме, с облезлой амальгамой по краям — от прежних хозяев. Я в него не смотрю. Тысячу лет не смотрю в зеркала. Мне незачем — там всегда одно и то же. Высокий. Чёрный. Худой. Лицо — без возраста. Глаза — без дна.

Я посмотрел.

Высокий. Худой. Чёрный — пальто, ушанка.

Я снял ушанку.

На висках — справа и слева — были седые пряди.

Две. Тонкие. Белые. Как иней на чёрной ветке.

Их не было вчера. Вчера я тоже не смотрел в зеркало, но я знаю — их не было. Тысячу лет — не было. Я не седел. Не морщинился. Не старел. Не менялся.

Я поднял руку. Тронул седую прядь пальцами.

Она была настоящая.

У моих ног, в прихожей, на половике, сидела кошка.

Рыжая. Одна.

Я её не назвал. Я — Таисья Ивановна смеётся — так и зову: «Рыжая». Она пришла в апреле тридцать третьего года. Сама. Котёнком. Тощая, облезлая, с оторванным ухом. Села на крыльце. Таисья Ивановна сказала: «Твоя, барин. Выбрала». Я сказал, что мне не нужна кошка. Таисья Ивановна сказала: «А ей — нужен ты. Спорить будешь, что ли?»

Я не стал спорить.

Два года и девять месяцев она живёт у меня. Спит на моей кровати. Ест из моей тарелки. Будит меня в пять утра, наступая лапой на лицо. Я пишу о ней Кругловой — один раз написал, открыткой, без обратного адреса. «Завёл. Одну. Рыжую. Пока — живая». Я тогда очень долго думал над последними двумя словами. Тысячу лет я ничего не заводил. Ничего живого. Живое — умирает. Я — нет. Я не хотел смотреть, как.

Рыжая сидела на половике и смотрела на меня.

Потом — подошла. Потёрлась о ногу. И легла. На мою ногу. Сверху. Как будто держала.

Я смотрел на неё.

— Рыжая, — сказал я. — У меня сердце бьётся.

Рыжая мурлыкнула.

— Ты понимаешь, что это значит?

Рыжая закрыла глаза.

Она понимала. Кошки всегда понимают. Это люди — тысячу лет не понимают.

Сердце билось.

А это значит — моя смерть больше не в яйце.

Она — где-то.

Она — живая.

Таисья Ивановна пришла в девять. Как всегда. С ведром молока — у неё корова, последняя на всю деревню, — и с хлебом в полотенце.

Постучала. Не дождалась ответа. Вошла.

Я сидел на кухне. За столом. Без пальто. Без ушанки. В свитере. С Рыжей на коленях. С ладонью на груди.

Таисья Ивановна посмотрела на меня. С порога.

Поставила ведро.

Подошла. Близко. Наклонилась. Посмотрела мне в лицо — внимательно, прищурившись, как смотрят на сеть, проверяя, где порвано.

Увидела седину.

— Ой, — сказала она. — Ой, барин. Это чего? Покрасился, что ли?

— Нет.

— А чего?

Я посмотрел на неё.

Таисья Ивановна знала. Не всё — но знала. Я ей сказал. В феврале прошлого года. Ночью. Шёл буран, у неё замёрзла труба, она пришла ко мне греться, и мы сидели у печи до утра, и она рассказывала про Степана, а я — про себя. Про тысячу лет. Про иглу. Про ломбард «Вечность» в Сызрани, в тридцать третьем, где я принимал в залог не кольца и не шубы, а то, что у людей внутри: умения, смех, терпение, голоса. Про то, как у тамошнего кота-фамильяра я взял голос, а тамошняя ведьма со своей Верховной меня прижали — так, что я закрыл лавку и уехал сюда, на край земли. Про голоса, которые я брал в залог у людей все эти века, — теноров, басов, баритонов, знаменитых и безвестных, — потому что своего голоса у меня не было. Про то, что я не могу умереть.

Она слушала. Не перебивала. Курила.

Когда я закончил — она долго молчала. Потом сказала:

— Ну и жил бы. Чего ты?

Я не понял.

— Жил бы, — сказала Таисья Ивановна. — Тысячу лет. Чего ты всё — «не могу умереть, не могу умереть». Ну не можешь — и не надо. Живи. Дрова коли. Кошку корми. — Она затушила папиросу. — Степан мой — мог. Умереть. Взял да умер. На тоне. В сорок восемь лет. Это — лучше, что ли? Мне — лучше?

Я тогда ничего не ответил.

Потом думал. Год.

— Таисья, — сказал я сейчас. — У меня сердце бьётся.

Таисья Ивановна смотрела на меня.

— Бьётся, — повторила она.

— Первый раз за тысячу лет. Сегодня. В шесть сорок. — Я снял её руку с края стола. Красную, обветренную, с распухшими суставами. Положил себе на грудь. Под свитер. На рубашку. — Слышишь?

Она держала руку у меня на груди.

Долго.

Её ладонь была шершавая. Горячая. Тяжёлая. Я чувствовал её сквозь рубашку — каждый палец, каждую мозоль.

— Бьётся, — сказала Таисья Ивановна. Тихо. — Быстро как. Как у воробья.

— Это значит, что моя смерть — родилась, — сказал я. — Она была в яйце. В Сызрани. А теперь — родилась. — Я помолчал. — Я не знаю, что это значит. Я никогда не слышал, чтобы такое… Яйцо — это тюрьма. Скорлупа. Тысячу лет — скорлупа. — Я смотрел на неё. — А теперь — нет скорлупы. Теперь она — где-то. Живая. Бегает. Дышит. И у меня — бьётся сердце. Потому что считает.

— Чего считает?

— Сколько мне осталось.

Таисья Ивановна не убирала руку.

— А сколько?

— Не знаю, — сказал я. Это была правда. Первый раз за тысячу лет я не знал, сколько мне осталось. — Может — столько, сколько ей. Птице. Если она — птица. Перепёлке — года три, кажется. Четыре. — Я помолчал. — А может — меньше. Если её съест кошка. Если она замёрзнет. Сейчас — январь. В Сызрани — минус двадцать. Она — только родилась. Голая, наверное. Мокрая.

Таисья Ивановна молчала.

— А может, — сказал я, — больше. Я не знаю, Таисья. Я ничего не знаю. Я тысячу лет всё знал. А сейчас — ничего.

Таисья Ивановна убрала руку.

Выпрямилась. Посмотрела на меня. Сверху вниз.

Потом — пошла к печи. Открыла заслонку. Посмотрела на огонь. Подкинула два полена — тех, что я наколол до шести сорок.

Закрыла заслонку.

Обернулась.

— Ну и чего ты сидишь? — сказала она.

— Что?

— Чего сидишь, говорю? — Таисья Ивановна вытерла руки о передник. — Смерть у него родилась. Бегает где-то. Голая. Мокрая. В мороз. А он — сидит. Кошку гладит. — Она покачала головой. — Ехать надо, барин. В Сызрань эту твою. Искать.

— Зачем?

Таисья Ивановна посмотрела на меня. Как на дурака. С жалостью и раздражением.

— А затем, — сказала она, — что если она там замёрзнет — ты тут упадёшь. У колоды. С топором. И будешь лежать, пока я в девять с молоком не приду. — Мне это — надо, что ли? Второй раз — надо?

Я смотрел на неё.

— Степана я не нашла, — сказала Таисья Ивановна. Тихо. Ровно. — Три дня искали. Всей деревней. По берегу. На лодках. Не нашли. Море не отдало. — Она смотрела в окно. На серое предрассветное море. — Я его не хоронила. Ни разу. Пустую могилу на кладбище — с крестом, а там никого. Я двадцать лет хожу к пустой могиле.

Рыжая на моих коленях открыла глаза.

— Так что ехать надо, — сказала Таисья Ивановна. — Искать. Пока живая. — Она посмотрела на меня. — И я с тобой.

— Таисья.

— Чего?

— Это — Сызрань. Две тысячи километров. Поезд — двое суток. Через Москву.

— Ну и что, — сказала Таисья Ивановна. — Я в Москве была. В восемьдесят девятом. На ВДНХ. Видела фонтан «Дружба народов». — Она сняла передник. — Корову — Нюрке оставлю. Нюрка подоит.

— Зачем тебе?

Таисья Ивановна остановилась. С передником в руках. Посмотрела на меня.

— А затем, — сказала она, — что я тебя три недели колоть дрова учила, барин. Два года кормлю. Шапку тебе подарила. Свитер связала. — Она сложила передник. Аккуратно. Вчетверо. — Человеком тебя сделала. Своими руками. — Мне что, своё — бросать? В Сызрань одного отпускать? Где ты там опять — в склеп?

Я не ответил.

Я не знал, что ответить.

Тысячу лет я знал, что отвечать. Всем. Всегда. У меня было тысячу голосов в залоге — я мог ответить любым. Басом. Тенором. Баритоном. Шёпотом.

А сейчас — своим — не знал.

Сердце билось. Тук. Тук. Тук.

— Таисья, — сказал я.

— Ну?

— Я не умею — со своими.

Таисья Ивановна посмотрела на меня.

Потом — подошла. Наклонилась. И поцеловала меня в лоб. Сухими, обветренными губами. Быстро. Как целуют ребёнка перед школой.

— Научишься, — сказала она. — Дрова ж научился колоть.

Выехали в тот же день.

Автобус до Умбы — в два. От Умбы до Кандалакши — маршрутка, три часа по зимнику. От Кандалакши — поезд на Москву, в девятнадцать сорок. Плацкарт. Боковые места — других не было, рождественские праздники. Москва — девятого, утром. С Казанского вокзала — вечерним на Сызрань. Сызрань — десятого, в шесть утра.

Таисья Ивановна собрала сумку за двадцать минут. Клетчатую. Огромную. В сумке — свитера, шерстяные носки, сало, хлеб, сушёная треска, банка морошкового варенья, «Беломор» — три блока — и маленькая иконка Николы Угодника, обёрнутая в носовой платок.

Я собрал чемодан. Маленький. Кожаный. Старый. Внутри — пальто, пенсне в футляре, две рубашки, книга. Одна. Тысячу лет я вожу её с собой. Не скажу какая.

Рыжую — в корзинку. Таисья Ивановна дала. Плетёную, из ивы. С крышкой. Выстлала соломой. Старой, с сеновала.

Рыжая залезла сама. Свернулась. Закрыла глаза.

В плацкарте было душно. Пахло курицей, лапшой быстрого приготовления, мокрыми валенками и чужими носками. На верхней полке напротив храпел вахтовик с Ковдора. Внизу — мать с двумя детьми ехала к бабушке в Тверь, и дети всю ночь спорили, кому достанется верхняя полка.

Таисья Ивановна сидела у окна. Смотрела на снег. На ели. На тёмные полустанки, проносившиеся мимо.

Я сидел рядом.

Корзинка с Рыжей — у меня на коленях.

Сердце билось.

Тук. Тук. Тук.

Где-то там — за двумя тысячами километров, за Москвой, за Волгой, — в Сызрани, в зимней ночи, — бегало что-то маленькое, тёплое, живое. С моей смертью внутри.

Я не знал, где оно.

Я не знал, живо ли оно ещё.

Я знал только — что если сердце бьётся, значит — живо.

Ночью, где-то под Петрозаводском, Таисья Ивановна уснула. Сидя. Прислонившись к стенке купе. С открытым ртом. С иконкой в кулаке.

Я смотрел на неё.

На седые, коротко стриженные волосы. На красные руки. На морщины у глаз — от ветра, от моря, от двадцати лет у пустой могилы.

Потом, очень осторожно, чтобы не разбудить, — снял своё пальто. Чёрное. Тысячелетнее. Укрыл её.

Она не проснулась.

Только — во сне — подтянула пальто к подбородку. И пробормотала что-то. Поморское. Неразборчивое. Мне показалось — «Стёпа». Мне показалось — нет, не «Стёпа». Мне показалось — что-то другое.

Я не разобрал.

Сердце — билось.

Я сидел в рубашке. В плацкарте. В холоде — в поезде было холодно, проводница экономила уголь.

И впервые за тысячу лет — мёрз.

Это было ужасно.

Это было — прекрасно.

Глава 3. Гаша. Рождество

Меня зовут Агафья Егоровна Шмелёва, мне семь лет и десять месяцев, и я вижу нитки.

Это не хвастаюсь. Это просто так есть. Как у Феди Рыжикова есть веснушки. Он же не хвастается. Он их даже не любит. Он говорит, что они как будто его кто-то сверху посыпал корицей и забыл.

Нитки — они между всеми. Между мамой и папой — толстая, синяя, как канат на школьном физкультурном. Между мной и Алёшей — серебряная и короткая, потому что мы всегда рядом. Между Модестом и Фролом Евсеичем — серая и вся в узелках, потому что они ругаются. Между Никитой и Соней — голубая. Раньше была тоненькая, как у паучка. Теперь — толстая, как шнурок от кроссовок. Я им не говорю. Мама сказала — не надо. Сказала — когда люди сами не видят, им лучше не говорить, а то они начинают смотреть на нитку, а не друг на друга.

Если нахмуриться — ниток меньше. Это меня бабушка Дуня научила. Она умерла. Давно, мне четыре было. Но я помню, как она мне палец на лоб положила. Вот сюда. Между бровями. И сказала — «твоё».

В Рождество я проснулась от того, что Модест орал.

Не мяукал — орал. На всю кухню. Я никогда не слышала, чтобы Модест орал. Он обычно говорит тихо и противно, как наша завуч Ирина Валерьевна, когда кто-то бегает по коридору.

А тут — орал.

— Где?! — орал Модест. — Я спрашиваю — где?! Ты сидел рядом! Ты сидел рядом, старый пень, и не видел?!

— Не ори на меня! — орал Фрол Евсеич. — Я не спал! Я глаз не сомкнул! Я с него глаз не спускал!

— А он где?!

— В трубу ушёл!

— Птенец?! В трубу?! Сутки от роду?!

— Я видел, как он лез! Я его — за хвост! А он — фррр! И нету!

— У перепелят нет хвостов!

— Значит — за что-то ещё!

Я слезла с кровати. С верхней. В пижаме. Алёша внизу уже не спал — сидел на кровати, с Аполлинарием на коленях, и смотрел на дверь.

— Что там? — спросила я.

— Перепёлка сбежала, — сказал Алёша.

— Какая перепёлка?

Алёша посмотрел на меня.

— Из валенка, — сказал он. — Дом мне сказал. Ночью. Я слышал, как она вылупилась. В четыре. Она — пищала.

Я пошла на кухню.

На кухне был — бедлам. Это бабушка Зина так говорит, когда в классе все бегают. Бедлам.

Модест стоял на шестке. Весь взъерошенный. Хвост — как ёршик для бутылок. Лапы — розовые, распухшие, обмотанные бинтом. Фрол Евсеич — на полу, у печки. Тоже взъерошенный. С моим носком в руке. Розовым. Новогодним. Из комплекта, который мне бабушка Зина подарила, — там было пять пар, все розовые, с разными зверями.

Устя — за печкой. Высунувшись.

Луи — на подоконнике. В рыжем свитере. Смотрел в окно.

Мама — у плиты. В халате. С телефоном. Звонила кому-то. Папа — рядом. В трусах и в майке. С кофе. Смотрел на маму.

— Не отвечает, — сказала мама. — Номер не существует.

— А какой номер-то? — спросил папа.

— Ломбарда. «Вечности». Там на вывеске был. Я сфотографировала тогда. — Мама положила телефон. — Номер не существует.

— Значит, нету у него телефона.

— Значит, нету. — Мама повернулась. Увидела меня. — Гаша. Ты чего встала?

— Модест орал.

— Модест не орал, — сказал Модест с шестка. — Модест выражал обеспокоенность.

— Ты орал, — сказала я. — Как Ирина Валерьевна.

Модест посмотрел на меня. Очень долго. Как будто хотел что-нибудь сказать противное. Но не сказал.

— Мам, — сказала я. — А какая перепёлка?

Мама рассказала.

Про валенок. Про яйцо. Про иглу. Я это всё знала — ну, почти, — мне Алёша рассказывал, он всё помнит, даже то, что было, когда мы маленькие были. Но я не знала, что игла — это смерть. Настоящая. Кощеева. И что если перепёлка умрёт — то и он.

Я помнила Кощея. Немножко. Мне пять было. Он был — высокий. Чёрный. С очками на носу без дужек. И пах — пылью. Как бабушкин сундук. Он один раз на меня посмотрел, в ломбарде, когда мама меня туда взяла, — и я спряталась за маму. Потому что от него ниток не было. Совсем. Ни одной. Ни к кому. Как будто он — не человек, а фотография человека.

— А он — где? — спросила я.

— На Белом море, — сказала мама. — В Поморье. Далеко.

— А он знает?

Мама посмотрела на меня. Потом на Модеста. Потом — в окно.

— Наверное, знает, — сказала она. — Если у него — сердце.

Я не поняла.

Но мама больше ничего не сказала. Она стала одеваться. Быстро. Папа — тоже. Мама сказала — надо искать. По городу. Сейчас. Пока не замёрзла. Минус двадцать.

А нам с Алёшей сказала — сидеть дома. С Фролом Евсеичем.

Я не стала спорить. Я знала, что она скажет «сидеть дома», ещё до того, как она сказала. Мама всегда так говорит, когда страшно.

Но я — нахмурилась.

И посмотрела.

Не на маму. Не на папу. Не на Модеста.

На трубу.

Ну — на печь. Туда, где Фрол Евсеич сказал, что перепёлка ушла в трубу.

И увидела.

Из трубы — изнутри, из печки, через кирпичи, через потолок, — тянулась нитка.

Чёрная.

Не как у всех. У всех нитки — цветные. Или серые, если человек грустный. Или бледные, если давно не виделись. Но не чёрные. Чёрных я не видела никогда. Ни разу.

Эта была — чёрная. Тоненькая. Тоньше всех. Как волос. Как паутинка. И блестела. Как будто мокрая. Как будто железная.

Она шла из трубы — вверх. Через крышу. Наружу. И я, нахмурившись ещё сильнее, — так, что заболел лоб, — проследила, куда.

На улицу. Через двор. Через забор. Через Верхне-Кирпичную. Через крыши. На север. Далеко.

И там — где-то очень далеко, так далеко, что я почти не видела, — она кончалась. В ком-то.

Я не знала в ком.

Но я знала, что этот кто-то — едет. Сюда. Потому что нитка — двигалась. Медленно. Чуть-чуть. Как леска, когда папа сматывает удочку.

— Мам, — сказала я.

Мама уже стояла у двери. В куртке. В шапке.

— Что, зайка?

— Нитка, — сказала я. — Чёрная. Из трубы. На север.

Мама остановилась.

— Какая нитка?

— От перепёлки, — сказала я. — К кому-то. Далеко. Он едет. Нитка — сматывается.

Мама смотрела на меня. Долго. Потом повернула внутри себя ручку — я видела, как у неё становятся другие глаза, когда она поворачивает. Посмотрела на трубу.

— Не вижу, — сказала она. — Гаша. Я — не вижу.

— Она тонкая.

— Я и тонкие вижу.

— Эта — тоньше.

Мама подошла ко мне. Присела. Посмотрела мне в глаза.

— Гаша, — сказала она. — Ты можешь — по ней пройти? По нитке? Где перепёлка сейчас?

Я подумала.

— Могу, — сказала я. — Если нахмурюсь. Если сильно-сильно.

— Голова будет болеть.

— Пусть.

Мама смотрела на меня. Потом — на папу.

Папа пожал плечами.

— Ты сама говорила, — сказал папа, — когда зовут — надо идти.

— Её не зовут.

— Её — перепёлка зовёт, — сказал папа. — По нитке. — Он подумал. — Ну, или Кощей. Какая разница.

Мама вздохнула.

— Одевайся, — сказала она мне. — Тепло. Две пары носков.

— Розовые?

— Любые.

Мы шли по нитке.

Я — впереди. Нахмуренная. Мама — сзади. Держала меня за капюшон. Папа — ещё сзади. С термосом. Модест — у папы на руках. Модест сказал, что пойдёт, а мама сказала — у тебя лапы, а Модест сказал — у меня совесть, а папа сказал — я его понесу, и взял. Модест не возражал. Он вообще в то утро ни разу ни на что не возразил.

Алёша остался дома. С Фролом Евсеичем и Устей. Сказал — «я дом послушаю, вдруг она вернётся».

Нитка шла по крышам.

Это было трудно. Потому что я по крышам не могу, а нитка — может. Она шла по коньку нашего дома, потом прыгала на крышу бани, потом — на забор, потом — через улицу — на крышу Синицыных, потом — на крышу нового русского, который с собакой. Собака — Барон — увидела нас и заорала. Модест на папиных руках сказал «тьфу», но тихо.

Я шла по земле. Под ниткой. Задрав голову. Мама держала меня за капюшон, чтобы я не врезалась в столб.

Нитка вела вниз. К Нижне-Кирпичной. Потом — по Нижне-Кирпичной. Потом — на Ульяновскую.

На Ульяновской мы встретили Никиту.

Он шёл от «Пятёрочки». С пакетом. В куртке, в шапке, в очках — очки запотели от мороза, он ничего не видел. И с Соней. Соня несла второй пакет. Они на каникулы приехали, из Казани, четвёртого. Мама сказала — до одиннадцатого.

— Василиса Андреевна? — Никита снял очки. Протёр. — Вы куда?

Мама сказала — коротко. Валенок. Яйцо. Перепёлка. Нитка.

Никита посмотрел на меня.

На мою нахмуренную голову. Задранную.

— Где она? — спросил он. — Нитка?

Я показала. Вверх. На крышу «Пятёрочки». Нитка шла по козырьку, по вывеске, по трубе вентиляции — дальше.

Никита посмотрел. Ничего не увидел — он ниток не видит. Но достал из кармана тетрадь. Синюю. Седьмую. И ручку. И записал. Прямо на морозе.

— Направление? — спросил он.

Я подумала.

— Туда, — сказала я. Показала.

Никита посмотрел. Подумал.

— Север-северо-запад, — сказал он. — К вокзалу.

Соня посмотрела на него. Потом на меня.

— К вокзалу? — сказала она. — Перепёлка? Зачем перепёлке — на вокзал?

Никто не знал.

Нитка вела к вокзалу.

Сызрань-1. Старое здание. Жёлтое. С часами на башенке. С колоннами. На площади перед вокзалом — ёлка. Большая. В лампочках. Рождество же.

Нитка шла — по ёлке. Вверх. Через лампочки. Через звезду на макушке. Потом — вниз. По проводам. К вокзалу. Под козырёк. К дверям.

В вокзал.

Мы вошли.

Внутри — тепло. Пахло кофе из автомата, мокрыми куртками, хлоркой. Народу — мало. Утро Рождества. Две бабушки на скамейке с сумками. Мужик с рюкзаком спит, накрыв лицо шапкой. Тётя в окошке кассы. Полицейский у рамки — папа ему кивнул, тот кивнул в ответ, — молодой, с телефоном.

Нитка шла — через зал. Под скамейками. К дальней стене. Где большое окно — на перрон. На пути.

На север.

Я пошла.

Нахмуренная. Голова уже болела — как будто туда положили камень. Но я шла.

Под последней скамейкой. У самого окна. Там, где из батареи дует тёплый воздух, и где кто-то уронил булку — полбулки, с маком, — и она лежала на полу, вся в крошках.

Сидела перепёлка.

Маленькая. Как орех. Серая с коричневым. В пуху — уже не мокрая, высохла, пушистая. На тонких ножках. Клевала булку. Клюв — тук-тук-тук — быстро-быстро. Крошки разлетались.

Клевала. Поднимала голову. Смотрела на окно. На пути. На север.

Клевала опять.

Я присела на корточки.

Перепёлка подняла голову. Посмотрела на меня.

Глаза — чёрные. Как бусины. Как у Аполлинария, только маленькие.

И внутри неё — я видела, нахмуренная, — внутри, в серединке, где сердце, — блестело. Чёрное. Тонкое. Острое. Как иголка, которую мама вдевает в нитку, когда пришивает мне пуговицу.

От иголки — нитка. Чёрная. Через окно. На север.

Натянутая. Дрожащая. Как струна на гитаре у Кузьмичёва.

— Привет, — сказала я перепёлке.

Перепёлка смотрела.

— Ты — к нему хочешь? — спросила я. — На север?

Перепёлка не ответила. Перепёлки не разговаривают. Я знаю. Модест говорит, Луи говорит, Карл у Риммы Гареевны говорит, а перепёлки — нет.

Но она — пискнула.

Тихо. Тоненько.

Я сняла варежку. Красную. Бабушка Пелагея вязала.

Протянула руку. Ладонью вверх. На пол. Рядом с булкой.

Перепёлка посмотрела на мою ладонь.

Потом — на булку.

Потом — опять на ладонь.

И — шагнула. Тонкими ножками. Три шажка. На мою ладонь.

Она была лёгкая-лёгкая. Как пёрышко. Как будто ничего нет. И тёплая. И — я чувствовала ладонью — внутри у неё билось сердечко. Быстро-быстро. Как часики у бабушки Зины, которые на руке.

И глубже — холодное.

Я прижала её к себе. Осторожно. К куртке.

Мама присела рядом. Посмотрела. Не сказала ничего. Только погладила меня по голове. По шапке.

Папа подошёл с Модестом на руках.

Модест посмотрел на перепёлку. У меня на ладони.

Долго.

— Живая, — сказал он. Мне. Тихо.

— Живая, — сказала я.

Модест закрыл глаза. И — я видела — у него опустились плечи. Как будто он долго нёс что-то тяжёлое и наконец поставил.

Никита стоял рядом. С тетрадью. Записывал.

Соня стояла рядом с Никитой. Смотрела на перепёлку.

— Она клевала булку, — сказала Соня. — С маком. И смотрела в окно. На пути. — Она хотела — на поезд?

— На север, — сказала я. — К нему. По нитке.

Соня посмотрела на меня. Потом на Никиту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.